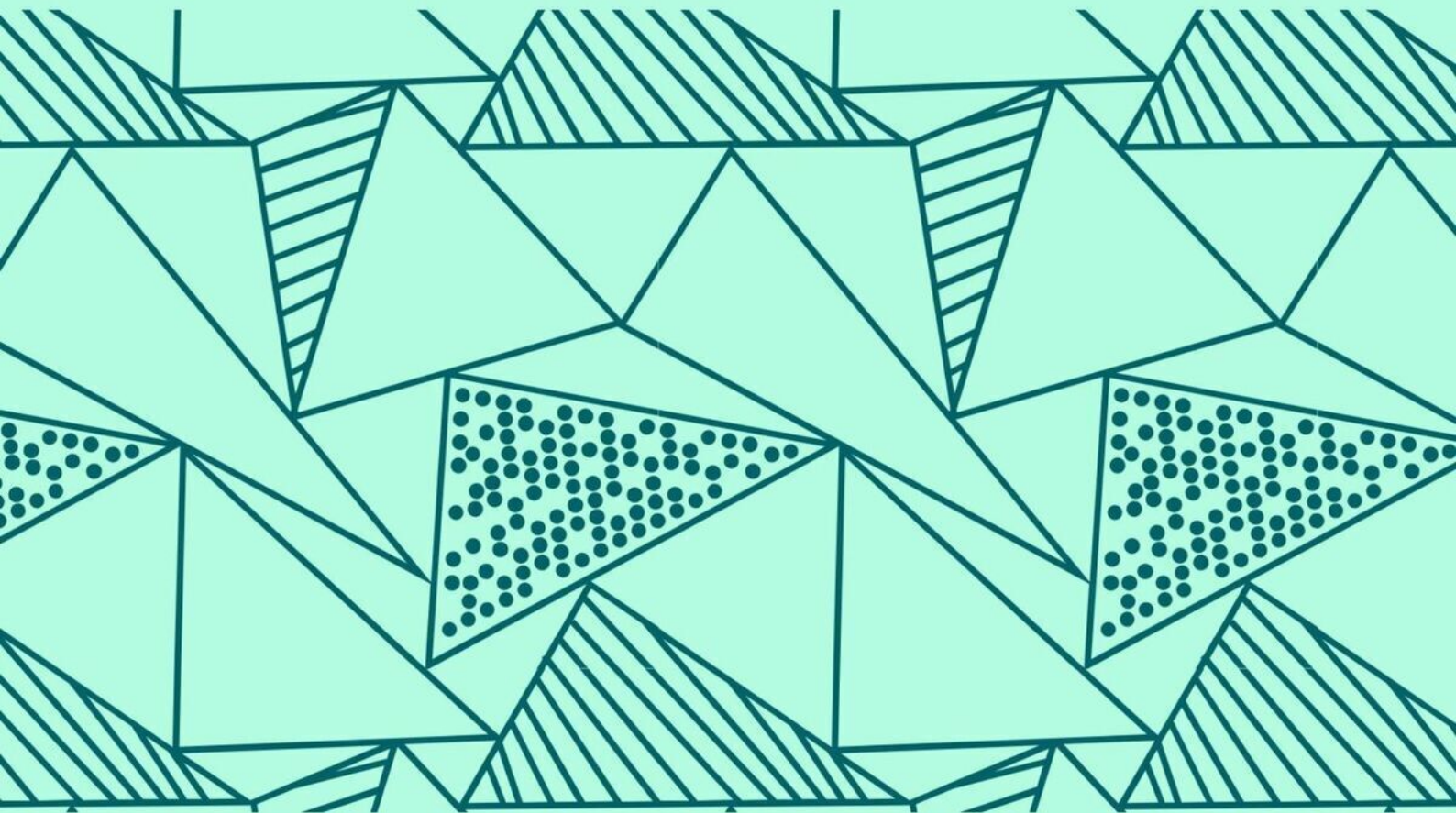


Ги де Мопассан



СЛОВА ЛЮБВИ

Рассказы. Перевод Елены Айзенштейн

Ги де Мопассан

**Слова любви. Рассказы.
Перевод Елены Айзенштейн**

«Издательские решения»

де Мопассан Г.

Слова любви. Рассказы. Перевод Елены Айзенштейн / Г. де Мопассан — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-557429-9

Ги де Мопассан — гений рассказа. Сюжеты коротких рассказов Ги де Мопассана, изданных в 1898 году, невероятно изобретательны. Некоторые связаны с военной темой («Мадмуазель Фифи», «Двое друзей»), но большинство исследует психологию женской души: «Маррока», «Полено», «Реликвия» и др.). Что такое подлинный патриотизм? Что такое измена? Что такое любовь? Как сделать предложение? На эти и другие вопросы Мопассан отвечает в своей мастерской, талантливой, полной знания жизни и психологии людей книге.

ISBN 978-5-00-557429-9

© де Мопассан Г.
© Издательские решения

Содержание

Мадмуазель Фифи	6
Ржавчина возраста	13
Маррока	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Слова любви

Рассказы. Перевод Елены Айзенштейн

Ги де Мопассан

Переводчик Елена Оскаровна Айзенштейн

Оформление обложки Елена Оскаровна Айзенштейн

© Ги де Мопассан, 2024

© Елена Оскаровна Айзенштейн, перевод, 2024

ISBN 978-5-0055-7429-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Мадмуазель Фифи

Майор, прусский командир, граф Фарльсберг, прекратил читать свою почту, спиной уйдя в глубину обитого гобеленом кресла; его ноги в сапогах со шпорами, на элегантном мраморе камина, где в течение трех месяцев он занимал замок Дувиль, оставили два глубоких следа, делавшиеся с каждым днем все больше. Сигара и чашка кофе дымились на испачканном ликером столе, с зазубринами, сделанными ножом офицера-захватчика¹, который иногда останавливался здесь, чтобы подточить карандаш, по воле беспечной фантазии вычерчивая на изящной мебели цифры или рисунки. Когда он закончил письма, он пролистал немецкие газеты, которые только что принес офицер, поднялся, бросил в огонь три-четыре огромных куса зеленого дерева (ибо эти мосье понемногу вырубали парк, чтобы согреться) и приблизился к окну.

Дождь лил потоками, нормандский дождь, о котором говорят, что он брошен рукой в ярости, косой дождь, широкий, как занавес, создающий вид косой стены, едкий дождь, брызгами, топящий все вокруг, настоящий дождь руанских окрестностей, этот ночной горшок Франции.

Майор долго смотрел на затопленные газоны; а дальше, вздуваясь, Л'Анделль² поднималась до краев; он настукивал на окне Рейнский вальс, когда, услышав шум, обернулся; это был его помощник, барон Кельвайнгштайн, имевший звание, равное званию капитана.

Майор был великаном, широким в плечах, украшенным веерообразной широкой бородой, формировавшей скатерть на его груди; и вся эта огромная торжественная личность пробуждала мысль о военном павлине, павлине, несущем свой хвост и распускающего его на подбородке. Голубые глаза, холодные и нежные, разрезанная ударом сабли на австрийской войне щека, – всё говорило о нем как о смелом человеке и бравом офицере.

Капитан, немного рыжий, с большим животом, стянутым тугими подтяжками, со своим почти огненным румянцем, заставлял верить в сыновей огня, когда они находились под некоторыми отражениями; его фигура была словно натерта фосфором. Два зуба были потеряны в первую брачную ночь, он не вспоминал, как это случилось, но из-за этого он выплевывал плотные слова, которые не всегда были слышны; на верху черепа он был просто лыс, подстрижен, как монах, с маленькой копной стриженных курчавых волос, золотившихся и блесневших вокруг обруча обнаженной плоти.

Командир пожал ему руку, одним махом проглотив чашку кофе (шестую за утро), слушая рапорт своего подчиненного об инциденте, случившемся в дежурство; потом оба приблизились к окну, решив, что это невесело. Майор был человек спокойный, женатый, приспособившийся ко всему; а барон, капитан, неуступчивая живость, бегун в движении, бешеный ловец женщин, возмущался заточённостью в течение трех месяцев, обязанностью хранить целомудрие на этой забытой богом должности.

Поскольку стучали в дверь, командир велел открыть ее, и человек, с своими солдатами-автоматами появился в открытой двери, сказав, что завтрак уже готов.

В зале для обедов они нашли трех офицеров меньшего звания: лейтенанта Отто де Кросслинга, двух младших лейтенантов: Фрица Шеунаубурга и маркиза Вильгельма Д'Ейрика, маленького блондина, гордого и грубого с людьми, твердого с побежденными, яростного, как огнестрельное оружие.

С момента вторжения во Францию они называли его мадмуазель Фифи. Это имя он получил из-за кокетливого зада, тонкой талии, о которой говорили, как в корсете, из-за бледного лица, где зарождавшиеся усы только намечались, а также от привычки, которую тот приобрел,

¹ Речь идет, вероятно, о Франко-прусской войне 1870—1871 гг.

² Анделль – правый приток Сены.

выражая благородное презрение к существам и к вещам, постоянно используя французское междометие «фи-фи», произносившееся им с легким свистом.

Столовая замка Дувиль была длинной королевской комнатой, в которой лед старого стекла, звезды шаров и высокие ковры Фландрии, изрезанные ударами сабель, висящими на местах, говорили о занятиях мадмуазель Фифи в часы праздности.

На стенах – три семейных портрета: воина в доспехах, кардинала и президента, кутивших фарфоровые трубки, тогда как в раме, очищенной от вороха лет, благородная плотнотрудая дама с высокомерием показывала огромную пару усов, сделанных углем.

В этой искаленной комнате, потемневшей от ливня, опечаленной своим побежденным видом, в которой старый дубовый паркет стал похож на крепкий паркет какого-нибудь кабаре, завтрак офицеров прошел почти в полном молчании.

В час курения, когда стали выпивать и перестали есть, они начали, как и каждый день, говорить о своей скуке. Бутылки коньяка и ликера передавались из рук в руки. И все они, опрокинув свои стулья, впитывали постоянно повторявшиеся толчки сидящих в уголках рта длинных изогнутых трубок, каждая из которых заканчивалась фаянсовым яйцом, всегда живописным, соблазнявшим готтентотов³.

Когда их стаканы опустошались, усталым жестом они наполняли их снова. Но мадмуазель Фифи свой в этот момент разбивал, и солдат подавал ему другой стакан.

Они тонули в едком тумане курева и, казалось, погружались в печальное, сонное пьянство, в мрачное пьянство людей, которые ничего не делают.

Но вдруг барон выпрямился. Возмущение охватило его, он произнес: «Именем Бога, это не может так продолжаться, нужно придумать что-то, наконец».

Одновременно лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, два нежных пруса, в высшей степени с серьезными и тяжелыми физиономиями, спросили: «Что, мой капитан?»

Он размышлял несколько секунд, потом добавил: «Что? Нужно организовать праздник, если командир позволит».

Майор бросил свою трубку: «Что за праздник, капитан?»

Барон приблизился: «Я обо всем позабочусь, мой командир. Я отправлю в Руан *Задание*, чтобы нам привезли дам. Я знаю, где их взять. Приготовим здесь ужин; ни в чем не будет недостатка, по крайней мере, мы проведем хороший вечер».

Граф Фальсберг пожал плечами, улыбнувшись: «Вы безумец, мой друг».

Но все офицеры поднялись, окружив своего шефа, и стали умолять: «Пусть капитан все устроит, командир, здесь так печально».

Наконец, командир уступил. «Ладно, – сказал он, – раз барон называет это *Заданием*». Пожилой младший лейтенант, которого никогда не видели смеющимся, фанатически исполнял все распоряжения шефа, какие бы они ни были. Стоя с бесстрастным лицом, он получил инструкции барона, затем вышел, а через пять минут большая повозка из числа военных, куполообразно покрытая мельничным брезентом, запряженная четверкой лошадей, выехала.

Трепет пробуждения сразу же пробежал в душах. Вялые позы преобразились, лица задвигались, и начались разговоры.

Несмотря на то что ливень продолжался с прежней яростью, майор утверждал, что он сделался не такой сильный, и лейтенант Отто убежденно объявил, что небо проясняется. Мадмуазель Фифи, казалось, не стоял на месте. Он поднялся, а потом сел. Его ясный и решительный взгляд искал чего-нибудь твердого, чтобы сломать. Вдруг, остановив взгляд на усатой даме, молодой блондин выстрелил из своего револьвера. «Ты не увидишь самой себя», – сказал он и, не покидая своего места, выстрелил. Две пули успешно прошли в два глаза портрета.

³ Готтентоты – этническая общность, народ, населявший Южную Африку.

Потом он воскликнул: «Сделаем мину!» И вдруг разговор прервался, как будто всех охватил новый властный интерес.

Мина, собственное его изобретение, в его разрушительной манере, была предпочтительным развлечением Фифи.

Покинув замок его законный владелец, граф Фернанд Д'Амуа Дувиль, не имел времени ничего вывезти или спрятать, за исключением зарытого в дыру стены серебра. Поскольку замок был очень богатый, превосходный, его большая гостиная, выходящая дверью в столовую, до поспешного бегства хозяина имела вид музейной галереи.

Со стен смотрели полотна, рисунки и ценные акварели, тогда как мебель, этажерки, элегантные витрины, тысячи безделушек: ваз, статуэток, человечков из саксонского фарфора, китайских обезьянок, старинная слоновая кость и венецианское стекло – ценной и странной толпой населяли огромные апартаменты.

Теперь почти ничего не осталось. Не то чтобы их разграбили, майор, граф де Фальсберг не позволил бы; но мадмуазель Фифи время от времени делал *мины*, и все офицеры в такой день пять минут по-настоящему веселились.

Маленький маркиз пошел в гостиную поискать, из чего он может сотворить мину. Он принес малюсенький китайский заварочный чайник семьи Роз, который наполнил порохом, и в носик он аккуратно ввел широкий кусочек трута, поджег и бросил эту адскую машину в соседнюю комнату.

Потом он очень быстро вернулся и закрыл дверь. Все прусы, стоя с детскими улыбками любопытства, ждали; и взрыв потряс замок, все вместе они бросились наземь.

Мадмуазель Фифи, войдя первым, безумно стучал руками перед терракотовой Венерой, чья голова, наконец, свалилась, и каждый поднял кусочек фарфора, удивляясь странным кружевным обломкам, оставленным взрывом, проверяя новые убытки, оспаривая некоторые разрушения, как продукт предшествовавшего взрыва. Майор с отеческим видом осмотрел огромную, взволнованную и взорванную картечью Нерона гостиную с осколками объектов искусства. Он вышел первым, дружелюбно заявив: «На этот раз хорошо удалось».

Но дымовой смерч вошел в столовую, смешавшись с табаком, так что невозможно было дышать. Командир открыл окно, и все офицеры вернулись к выпивке, сгрудившись возле последней бутылки коньяка.

Влажный воздух ворвался в комнату, принеся разновидность водяной пыли, напудрившей бороды и наводнившей помещение ароматом. Они смотрели на огромные деревья, удрученные ливнем, на широкую равнину, затуманенную тяжелыми и низкими облаками, а вся колокольня видневшейся вдали церкви со стучавшим по ней дождем казалась серой точкой.

С момента их приезда колокольня больше не звонила. Более того, она одна противостояла захватчикам, эта колокольня. Кюре совершенно отказался принимать и кормить прусских солдат. Он несколько раз согласился выпить бутылку пива или бордо с вражеским командиром, который часто использовал его как доброжелательного посредника; но командир ни разу не просил того позвонить в колокол; кюре предпочел бы, чтобы его расстреляли. Это был его способ противостояния захвату, мирный протест, протест молчания, единственно возможный, как говорил он, который подходил священнику, человеку мягкому и некроваждному; и все люди, на десять лье вокруг, восхваляли стойкость и героизм аббата Шантавуа, который осмелился утверждать общественный траур, провозглашенный настойчивой немотой своей церкви.

Целая деревня, в энтузиазме противостояния, была готова до конца со всей смелостью поддерживать своего пастора, считая этот молчаливый протест сохранением национальной чести. Крестьянам казалось, что они послужили родине лучше, чем Бельфор или Страсбург, что они показали равносильный пример и имя деревушки войдет в Вечность; исключая это, они ни в чем не отказывали победившим прусакам.

Командир и офицеры – все вместе посмеялись над безвредной храбростью. И поскольку целая страна оказывала им услужливое и мягкое внимание, они охотно терпели ее молчаливый патриотизм.

Один маленький маркиз Вильгельм очень хотел силой принудить звонить в колокол. Он неистовствовал из-за политической снисходительности своего начальника к священнику и каждый день просил командира один раз сделать «Дин-дон-дон», один единственный короткий раз, чтобы хоть немного просто посмеяться. Он просил об этом с грацией кошки, с задабриванием женщины, нежным голосом обезумевшей от желания возлюбленной; но командир не уступал, и мадмуазель Фифи утешался, делая *мины* в замке Дувиль.

Несколько минут пять человек, собравшись в кучу, влажно дышали. Лейтенант Фриц, наконец, произнес с вязким смехом: «У этих молчаливых демозелей не будет много времени для их промената».

На этом расстались; каждый занялся своим делом, а капитан сделал основательные приготовления к обеду.

Когда с наступлением вечера они снова встретились, они принялись смеяться, видя все хорошеньким и сияющим, как в дни больших выходов, помад, парфюмов, всего свежего. Лошади командира казались менее пасмурными, чем утром, и капитан побрился, сохранив усы, которые под носом горели огнем.

Несмотря на дождь, оставили открытым окно, и один из них иногда ходил и слушал дождь. В шесть часов десять минут барон долгим оружейным раскатом дал сигнал. Все сразу бросились: большая карета примчалась, запряженная четверкой лошадей, с пометом до спины, дымящихся и свистящих.

Пять женщин спустились на перрон, пять прекрасных женщин, заботливо выбранных капитаном, который поехал, чтобы отвести карту офицеру, исполнившим *Задание* для товарищей.

За женщин не нужно было молиться; готовые быть хорошо оплаченными, в течение трех месяцев они знали прусских офицеров, шупавших их, приняли их сторону: людей, как вещей. «Профессия этого требует», – сказали они себе по дороге, чтобы ответить, несомненно, на тайные уколы остатков совести.

И сразу вошли в столовую. Освещенная, она казалась более печальной из-за своего жалкого упадка. Стол, покрытый мясом, богатая посуда, столовое серебро, найденное в стене, которое прятал собственник дома, придали этому месту оттенок бандитской таверны, в которой ужинают после грабежа. Капитан, лучась, схватил женщин, как собственные вещи, оценил, сжал в объятиях, обнюхал, взвесив их ценность как женщин, несущих наслаждение. И, поскольку три молодых человека хотели взять каждый по одной, он авторитарно противостоял этому, закрепив попытку поделить их за собой, со всей справедливостью, согласно чину, чтобы не пострадало ничье положение.

Теперь, наконец, чтобы избежать всякого оспаривания и намеков на предвзятость, он выровнял их по размеру талии и командным тоном спросил самую крупную: «Как тебя зовут?» Грубоватым своим голосом она ответила: «Памела».

Тогда он провозгласил: «Номер один, по имени Памела, присуждается командиру».

Обняв в качестве знака собственности вторую, Блондину, он предложил лейтенанту Отто толстую Аманду. *Еву-Помидор* – младшему лейтенанту Фрицу, а самую маленькую из всех, Рашель, крошечную брюнетку? с черными, как чернильные крапины, глазами, еврейку, чей курносый носик утверждал правило кривого носа всей этой породы, самому юному из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму Д'Ейрику.

Впрочем, все были красивы и толсты, без очень заметных физиономий, мало отличных друг от друга турнюров и кожи из-за повседневной любовной практики и общей жизни публичного дома.

Три молодых человека, под предлогом умывания, сразу увлекли за собой своих женщин. Но капитан мудро возразил, что они достаточно чисты, чтобы сесть за стол, и те, кто захотят переодеться и спуститься, будут мешать другим парам. Его мнение взяло верх. Было много поцелуев, долгожданных поцелуев.

Вдруг Рашель ахнула, закашлялась до слез и выдохнула из ноздрей дым. Под предлогом поцелуя, маркиз свистнул ей своей трубкой в рот струей табака. Та не разозлилась, не сказала ни слова, но из глубины своих черных глаз остановила на своем обладателе взгляд пробудившегося гнева.

Все сели. Сам командир казался очарованным, он усадил справа Памелу, а слева Блондину и заявил, разворачивая салфетку: «У вас возникла очаровательная идея, капитан».

Лейтенанты Отто и Фриц, вежливые, как близ светских женщин, немного испугали своих соседок, но барон Кельвайнгштайн, трусливый в своем пороке, сиял, бросал непристойности, и, казалось, вспыхивал короной своих рыжих волос. Он ухаживал на французском с рейнским выговором, с комплиментами из кабака, отхаркивая в дыру двух сломанных зубов слюнную карточку.

В остальном они ничего не понимали, их ум казался непробудившимся, и, когда барон плюнул нецензурными словами, наводнением выражений, искалеченных его рейнским выговором, тогда все вместе они начали смеяться, как безумные, падая животами на своих соседей, повторяя концовки фраз, которые барон искажал, чтобы доставить себе удовольствие и заставить их сказать глупость. Они опьянели от первых бутылок вина и снова стали собой, впуская в комнату свои привычки, целуя усы того, что справа, и того, что слева, щипали за руки, издавая яростные крики, пили из всех стаканов, пели французские куплеты, кусочки немецких песен, узнаваемые из ежедневного общения с врагами.

Вскоре молодые люди, опьяненные плотью этих женщин, расположившихся перед их носом и под их руками, обезумев, горланили, ломали посуду, а невозмутимые солдаты за их спинами им служили.

Один командир сохранял сдержанность.

Мадмуазель Фифи взял Рашель на колени, двигаясь в холодном оживлении, безумно целовал дрожащее черные завитки на ее шее, нюхая узкие места между платьем и тонкой, нежной кожей ее тела и весь ее природный запах; иногда через ткань он неистово щипал ее, заставлял кричать, охваченный неистовой свирепостью, трудясь с потребностью опустошения. Часто он обнимал ее полным объятием, как будто чтобы смешать ее с ним, надолго прижимался своими губами к свежему рту еврейки, целовал ее, теряя дыхание, но вдруг он укусил ее так глубоко, что след крови спустился на подбородок молодой женщины и побежал на ее корсаж.

Еще раз она посмотрела ему прямо в лицо, промыла рану, бормоча: «Это должно быть оплачено». Он принялся жестко смеяться: «Я заплачу», – сказал он.

Перешли к десерту. Разлили шампанское. Командир поднялся и тем же тоном, каким бы он произносил тост «за здоровье императрицы Августы», он выпил: «За наших дам!» Началась серия тостов галантных солдат и пьяниц, смешанная с непристойными шутками, еще более жесткими от незнания языка.

Один за другим они поднимались, набравшись смелости, стремились быть смешными, и женщины, пьяные до упаду, с туманными глазами, с текущими губами, каждый раз потерянно аплодировали.

Капитан, желавший, без сомнения, вернуть оргии галантный дух, поднял еще раз свой бокал и произнес: «За нашу победу над их сердцами!»

Тогда лейтенант Отто, тип медведя из Черного леса, встал, воспламенившись и насытившись выпитым. Вдруг, охваченный алкоголическим патриотизмом, он крикнул: «За нашу победу над Францией!»

Тогда падшие женщины замолчали, и Рашель, дрожа, повернулась: «Знаешь, я видела французов, перед которыми ты этого не скажешь».

Но маленький маркиз, все время державший ее на коленях, принялся смеяться, очень развеселившись от вина: «Ах! Ах! Ах! Я никогда не видел их, я! Как только мы появляемся, они покидают лагерь».

Раздраженная девушка крикнула ему: «Ты лжешь, сволочь!»

В продолжение секунды он остановил на ней свои ясные глаза, как будто смотрел на картину, холст которой он прострелил ударом револьвера, потом принялся смеяться: «Ах, да, поговорим, красавица, были бы мы здесь, если бы они были смельчаками!» И он оживился: «Мы их хозяева, и Франция для нас!»

Ответным толчком она покинула колени придурка и упала в кресло. Он поднялся, держа свой бокал посредине стола, и стал повторять: «Для нас Франция, и французы, леса, поля и дома Франции!»

Другие, вдруг сделавшиеся совсем пьяными, потрясенные внезапным военным энтузиазмом, энтузиазмом скотов, схватили свои бокалы, вопя: «Да здравствует Пруссия!» – и одним махом опустошили их.

Девушки более не протестовали. Они замолчали и прониклись страхом. Рашель заставила себя молчать, бессильная ответить. Тогда маленький маркиз поставил на голову еврейки заново наполненный свой бокал шампанского: «Все женщины Франции, – кричал он, – тоже наши!»

Она поднялась так быстро, что опустошенный хрусталь покатился, расплескав, как при крещении, желтое вино в черных волосах, и упал, расколовшись, на землю. Губы ее дрожали, она выдержала взгляд офицера, который все время смеялся, и забормотала сдавленным от гнева голосом: «Это, это, это неправда; к примеру, вы не владеете женщинами Франции!»

Он сел, чтобы с удовольствием посмеяться, и, пытаясь изобразить парижский акцент, сказал: «Что тогда ты здесь делаешь, малышка?» Одернутая, сначала она немного помолчала, понимая опасность своего возмущения, потом, когда она хорошо поняла, что он сказал, неистовая и возмущенная, она бросила ему: «Я! Я! Я не женщина, я шлюха, это все, что нужно пруссакам». Она не закончила, когда со всего маха он дал ей пощечину, но, поскольку, обезумев от гнева, он еще раз поднял руку, она схватила со стола маленький десертный серебряный нож и вдруг (ничего не ждали от нее сначала) она ударила его справа в горло, во впадину, туда, где начинается грудь.

Слово, которое он произнес, застряло в его горле; он оставался с зияющим ртом, с ужасающим взглядом.

Все с ревом затолкались; поднялся шум; но, после того как она кинула свой стул под ноги лейтенанту Отто, который рухнул во всю длину, она подбежала к окну, открыла его и, прежде чем могли до нее добраться, пропала в ночи, под дождем, который шел, не переставая.

В две минуты мадмуазель Фифи был мертв. Тогда Фриц и Отто, вынув оружие из ножен, хотели убить женщин, которые простерлись у них на коленях. Майор не совсем безболезненно предотвратил эту мясорубку, заперев в комнате, под присмотром двух человек, четырех растерянных женщин; потом, как если бы он расположил солдат для сражения, он организовал преследование беглянки, уверенный, что возьмет ее.

Пять человек, подстегиваемые угрозами, прочесали парк. Двести других прочесали лес и все дома долины. Мгновенно опустевший стол теперь использовался как последняя постель убитого; четыре офицера, негнувшихся и протрезвевших, с твердыми лицами людей войны в действии, остались рядом с окнами, прощупывая ночь.

Сильный ливень продолжался. Сумрак наполнило непрерывное омывание, бормочущий поток воды, который бежал, стекал каплями, фонтанировал.

Вдруг раздался залп оружия, потом очень далеко – другой, в течение четырех часов время от времени были слышны близкие и далекие взрывы, крики солдатских сборов, брошенные, как гортанные зовы, странные слова. Утром все вернулись. Двух солдат убили, а трое других, в пылу охоты и ночного преследования своим же товарищем, были ранены.

Рашель им найти не удалось.

Тогда жители почувствовали ужас, жилища взволновались пробежали, потрепали, всю местность, возвратились. Еврейка, казалось, не оставила ни единого следа.

Предупрежденный о произошедшем генерал приказал погасить дело, чтобы не давать плохих примеров армии; он вынес дисциплинарное взыскание командиру, который наказал своих подчиненных. Генерал сказал: «Мы не затем устроили войну, чтоб веселиться и нежничать с публичными девками». Граф Фальсберг, приведенный в ярость, решил отомстить всей стране.

Поскольку ему был нужен предлог для наказания без ограничения, он пришел к кюре и потребовал звонить в колокол по погибшему маркизу Д'Ейрику.

Против всех ожиданий, священник показал послушание, смирение, был полон уважения. И когда тело мадмуазель Фифи прошествовало, окруженное солдатами, которые, покинув замок Дувиль, маршировали на кладбище с заряженными винтовками, с оттенком очаровательной веселости похоронным звоном впервые прозвонил колокол, как если бы рука друга ласкала его.

Он звонил еще, и на завтра опять, и все дни. Он звонил так, как хотели. Иногда даже ночью колокол производил всего одно движение, и кидались два-три звука в темноте, охваченные необыкновенной жизнерадостностью, неизвестно почему пробужденные. Все крестьяне этого места говорили, что церковь заколдована. И никто, исключая кюре и дьячка, не приближался больше к колоколу.

Там, наверху, в тоске и одиночестве жила бедная девочка, втайне подкармливаемая кюре и дьячком.

Она оставалась в церкви до самого ухода прусских войск. Позже кюре заимствовал повозку у булочника и вечером перевез девушку из ее заточения в Руанский порт. Когда они приехали, священник поцеловал ее; она спустилась в публичный дом, хозяйка которого считала ее умершей.

Через некоторое время ее вытащил оттуда патриот, который без предубеждений полюбил ее за ее поступок, а потом она стала так дорога ему, что он женился на ней, сделав из нее Даму, которую ценил, как и многие другие.

Ржавчина возраста

У него была одна беспокойная страсть: охота. Он охотился все дни, с утра до вечера, с неистовой запальчивостью. Охотился зимой, как летом, весной, как осенью, на болотах, когда было запрещено охотиться в лесу и на равнине; охотился с гончими, охотился с собакой остановившейся, с собакой бегущей, наблюдая, поджидая в зеркале, охотился на хорька. Он не говорил ни о чем, кроме охоты, мечтал об охоте, повторял без конца: «Как были бы мы несчастны, если бы не любили охоту!»

Ему стукнуло пятьдесят, все шло хорошо, он оставался моложавым, несмотря на лысоватость, небольшую тучность и крепость. Он носил подстриженные усы, чтобы открыть губы и сохранить свободу рта: так удобнее было звонить в охотничий рог. В местности, где он жил, его называли коротко: мосье Гектор. Полное имя его – барон Гектор Гонтран де Кутелье. Он жил посреди леса, в маленьком наследном особняке; и он знал все местное дворянство и встречал в дни охоты всех мужественных его представителей; он часто бывал в одной семье, де Курвилей, своих милых соседей, веками живших рядом с представителями его рода.

В этом доме, где его баловали, любили, тешили, он как-то сказал: «Если бы я не был охотником, я бы никогда вас не покинул».

Мосье де Курвиль был его другом и товарищем с самого детства. Благородный фермер, он жил спокойно со своей женой, дочерью и зятем, мосье Дарнето, который ничего не делал под предлогом того, что изучает историю.

Барон де Кутелье часто обедал со своими друзьями, главным образом, для рассказов о своих охотничьих выстрелах, о собаках и хорьках, о которых он рассказывал, как о выдающихся личностях, которые ему хорошо известны. Он обнажал их мысли, их изобретательность, анализировал их, объяснял: «Когда Мёдор видел, что коростель пытается убежать, он говорил себе: «Подожди, мой мальчик, мы еще посмеемся». И тогда, сделав мне знак головой, чтобы я разместился в углу клеверного поля, он начинал просить с увертками, с громким шумом в неугомонных травах, чтобы подтолкнуть дичь в тот угол, откуда животное не могло больше убежать. Все происходило, как он предвидел; коростель вдруг оказался на меже. Невозможно было пойти дальше, не обнаружив себя. Коростель крикнул: «Щипок, собака!» – и скрылся. Мёдор тогда повалился, остановившись, и стал смотреть на меня; я сделал ему знак; он попытался. – Бру-у-у – коростель улетел прочь – я ручье на плечо – пах! – он упал; и Мёдор, сообщая об этом, задвигал хвостом, чтобы сказать мне: «Он играет там, мосье Гектор?»

Де Курвиль, Дарнето и две женщины безумно смеялись над этой живописной историей, в которую борон вложил всю свою душу. Он оживлялся, двигал руками, жестикулировал всем телом, и, когда он рассказывал о смерти дичи, грозно смеялся и в заключение всегда спрашивал: «Что ж, хороша?»

Если говорили о других вещах, он больше не слушал и пытался все время гудеть один, как оркестр. Кроме того, когда между двумя фразами наступала пауза, в такие моменты внезапного затишья, разрезавшие ропот слов, слышалось вдруг охотничье: «Тон-тон, тон-тэнь-тон-тон». И барон пытался надуть щеки, как если бы дул в свой рог.

Он никогда не жил ничем, кроме охоты, и старел, не сомневаясь в правильности этого и не замечая этого. Однажды вдруг он почувствовал атаку ревматизма и два месяца был вынужден оставаться в постели; он чуть не умер от печали и скуки. Поскольку у него не было служанки, на его кухне хозяйничал старый слуга, он не получал ни горячих компрессов, ни маленьких забот – ничего из того, что нужно больным. Его слуга был его медицинской сестрой, и этому молодцу было скучно не меньше, чем его хозяину; день и ночь он спал в кресле, пока барон ругался и раздражался между двух простынь.

Дамы де Курвиль приходили иногда навестить его; это были для него часы спокойствия и благополучия. Они готовили для него чай, заботились об очаге, любезно подавали ему завтрак в постель; и, когда они уходили, он бормотал: «Боже мой! Вы должны здесь жить». И от всего сердца они смеялись.

Когда ему стало лучше и он начал охотиться на болоте, он пошел вечером поужинать со своими друзьями; но у него больше не было задора и веселости. Бесконечная мысль мучила его: страх перед открытием охоты быть повторно захваченным болезнью. Когда настало время уходить, тогда женщины покрылись шальями, а он закутался в шейный платок, и в первый раз в жизни он пробормотал: «Если это повторится, я человек конченный». Когда он ушел, мадам Дорнето сказала своей матери: «Нужно женить барона».

Весь свет появился на ноги. Почему до сих пор мы не подумали об этом? Все вечера стали искать среди вдов, которых знали, и выбор остановился на женщине лет сорока, еще красивой, достаточно богатой, с хорошим настроением и хорошо сложенной, на мадам Берте Вилерс.

Ее пригласили провести месяц в шато. Ей было скучно, и она приехала. Она была разговорчива и весела. Мосье де Кутелье ей сразу понравился. Она играла с ним, как с живой игрушкой, и целые часы проводила, лукаво спрашивая его о чувствах кроликов и кознях лисиц. Он на полном серьезе отличал разные способы поведения разных животных, он ей сообщал планы и тонкие рассуждения, как человек знающий. Внимание, которое она ему оказывала, восхищало его; и однажды, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение, он взял ее на охоту, что он еще никогда не делал ни для одной женщины. Приглашение было так забавно, что она приняла его. Сами сборы на охоту стали для него праздником; все узнали об этом и что-то ему предлагали; она появилась в костюме амазонки, в сапогах, в мужском трико, в короткой юбке и в бархатном пиджаке, слишком узком у горловины, и в кепке служащего, ухаживающего за собаками.

Барон казался взволнованным, как если бы он делал свой первый выстрел из ружья. Он кропотливо объяснял ей направление ветра, различные собачьи повадки, тип охоты на дичь; затем он подтолкнул ее в поле и следовал за нею шаг в шаг, с заботой кормилицы, которая следит за своим выкормышем, делающим первые шаги.

Мёдор нашел, пополз, остановился, поднял лапу. Барон позади своей ученицы, казалось, дрожал, как лист. Он пролепетал: «Внимание, внимание, куро... куро... куропатка...»

Еще ничего не закончилось, как сильный шум сотряс землю, брр, брр, брр – и полк больших птиц, стуча крыльями, поднялся в воздух. Испугавшись, мадам Вилерс закрыла глаза и, выпустив два патрона, отступила на шаг под действием толчка ружья; потом, когда самообладание вернулось к ней, она заметила, что барон танцует, как безумный, а Мёдор тащит за хвосты двух куропаток.

Начиная с этого дня, мосье де Кутелье влюбился в нее.

Поднимая глаза, он сказал: «Какая женщина!» – и теперь все вечера он приходил, чтобы поговорить об охоте. Однажды мосье де Курвиль, который провожал гостя и слушал его восторги про новую подругу, вдруг спросил: «А почему бы тебе не жениться на ней?» Барон был захвачен врасплох: «Мне? Мне? Жениться? Но... на самом деле...» И он замолчал. Потом, поспешно сжав руку своего товарища, он пробормотал: «До свидания, мой друг», – и большими шагами исчез в ночи.

Три дня его не было. И, когда он появился вновь, он был бледен от размышлений и более серьезен, чем обычно. Он отвел де Курвиля в сторону: «У вас была известная вам идея. Попытайтесь приготовить меня к принятию ее. Боже мой, женщина, как эта, можно сказать, создана для меня. Мы охотимся вместе весь год».

Де Курвиль, уверенный, что ему не откажут, ответил: «Задайте ваш вопрос сразу, мой дорогой. Хотите ли вы, чтобы я это взял на себя?» Но барон сразу засомневался и пролепетал:

«Нет, нет... нужно сначала, чтобы я сделал маленький вояж, маленький вояж... в Париж. И вот когда я вернусь, я окончательно вам отвечу». Не дав других разъяснений, назавтра он уехал.

Поездка длилась долго. Неделя, две недели, три недели прошли, мосье де Кутелье не возвращался. Де Курвиля, удивленные, обеспокоенные, не знали, что сказать его подруге, которую они должны были предупредить о возвращении барона. Каждые два дня они отправляли к нему за новостями; никто из слуг ничего не получал.

Однажды вечером мадмуазель Вилерс пела в сопровождении фортепиано, служанка в великой тайне пришла, чтобы отыскать господина де Курвиля, так как его спрашивал мосье. Это пришел барон, изменившийся, постаревший, в дорожном костюме. Увидев своего старого друга, он схватил его за руки и немного усталым голосом сказал: «Я хочу вам сказать сразу... что это... это дело, которое вы знаете, вы хорошо знаете, невозможно».

Мосье де Курвиль в изумлении посмотрел на него: «Как? Невозможно? И почему?»

– Не спрашивайте меня, я вас прошу, это было бы слишком мучительно говорить, но будьте уверены, что я действую..., как честный человек. Я не могу... Я не имею права, вы слышите, права, жениться на этой даме. Я ждал, что она уедет, чтобы вернуться к вам; прощание было бы слишком мучительно. Прощайте.

И он тотчас ушел.

Вся семья рассуждала, спорила, предлагала тысячу причин. Решили, что великая тайна заключена в жизни барона, у которого, может быть, были свои дети, старая связь. Дело казалось серьезным; и, чтобы не входить в сложные перипетии, они искусно предупредили мадам Вилерс, которая, как и раньше, вернулась домой вдовой.

Прошло еще три месяца. Однажды, когда мосье Кутелье как следует пообедал и немного покачивался от выпитого, он, куря трубку вместе с мосье де Курвилем, сказал ему:

– Если бы вы знали, как часто я думаю о вашей подруге, вы бы сжалились надо мной.

Поведение барона в этот момент было слегка скомканным. Де Курвиль живо высказал ему свою точку зрения:

– Боже мой, мой дорогой, когда бы не тайны в существовании, не стоило начинать, как сделали вы, потому что вы, конечно, могли предвидеть причину вашего бегства.

Сконфузившись, барон перестал курить.

– И да, и нет. В конце концов, я бы не поверил в случившееся.

Мосье де Курвиль в нетерпении сказал:

– Мы должны все предвидеть.

Но мосье де Кутелье, проверяя глазами сумрак, чтобы быть уверенным, что нас никто не слышит, тихо сказал:

– Я прекрасно вижу, что я вас ранил, я обязан вам все рассказать и принести свои извинения. В течение двадцати лет, мой друг, я нигде не бывал, кроме охоты. Мне только это нравится, я не мог занять себя ничем, кроме охоты. В момент заключения брачного договора с этой дамой, ко мне пришли угрызения, угрызения совести. С тех пор как я потерял привычку... любить... наконец, я не знаю больше, буду ли я еще в состоянии... Вы хорошо понимаете...

Он задумался.

– Вообразите, теперь уже шестнадцать лет, как это было в последний раз. В этой местности это нелегко... любить. И потом мне нужно было сделать другую вещь. Я больше люблю стрелять из пистолета. Короче говоря, когда я оказался перед мэром и священником с ..., которую вы знаете, я испытал страх; вы знаете я испугался. Я сказал себе: «Ба, но если... если... я потерплю неудачу». Благородный человек никогда не нарушит своих обязательств; я давал священное обязательство этому человеку; наконец, чтобы иметь ясность на сердце, я пообещал себе восемь дней провести в Париже.

По прошествии восьми дней ничего, ничего не изменилось. Это не ошибка. В Париже я взял лучших в своем роде. Я вас уверяю, что они сделали все, что могли... Да, конечно, они

ничего не изменили. Но что вы хотите, они всегда уходили... с пустыми руками... с пустыми руками... с пустыми руками.

Я ждал еще пятнадцать дней, три недели, постоянно надеясь. Я ел в ресторане кучу перченых вещей, которые портили мой желудок, и... и... ничего... Все время ничего.

Вы понимаете, что в данных обстоятельствах, в констатации факта я могу только... только... уйти. Что я и сделал.

Мосье де Курвиль сдерживался, чтобы не рассмеяться. Он крепко пожал руку барона, сказав: «Я вас жалею», – и проводил до полпути к его дому. Потом, оставшись наедине со своей женой, сдерживая смех, он ей все рассказал. Но мадам де Курвиль не смеялась. Она очень внимательно выслушала, и, когда муж закончил, она ответила с большой серьезностью:

– Барон бестолков, мой дорогой, он боится, вот и все. Я напишу Берте, чтобы она возвращалась, и как можно скорее.

И, поскольку мосье де Курвиль возражал против долгого и бесполезного испытания своего друга, она повторила:

– Ба! Когда любят женщину, слышите вы? эта вещь там... всегда возвращается.

И мосье де Курвиль ничего не ответил, сам немного сконфузившись.

Маррока

Мой друг, ты просишь меня рассказать о моих впечатлениях, о моих приключениях и, особенно, о моей любовной истории на земле Африки, которая с давнего времени мне так нравилась. Раньше ты много смеялся о моих, как ты их называл, черных нежностях; ты уже представлял мое возвращение с крупной чернокожей женщиной, закрытой желтым платком, летящей в блестящих одеждах.

Придет, без сомнения, очередь африканки, так как я видел уже нескольких, которые мне дали некоторое желание окунуться в эти чернила, но для начала я наткнулся на кое-что получше, необычайно оригинальное.

Ты писал мне в своем последнем письме: «Если бы я знал, как любят в стране, я бы знал, как описать эту страну, лучше, чем если я бы увидел ее». Знаешь, здесь любят исступленно. С первых дней чувство – разновидность трепещущего пламени, восстание, внезапное напряжение желания, нервный бег кончиков ваших пальцев, которые перевозбуждены, раздражены любовной властью и всей областью наших физических чувств, начиная от простого контакта рук до той невыразимой необходимости, заставляющей совершать столько глупостей.

Слушай внимательно. Я не знаю, что называют любовью сердца, любовью души, если сентиментальный идеализм и, наконец, платонизм, могут существовать под этим небом, сомневаюсь. Но другая любовь, любовь чувств, которая должна быть прекрасна, более прекрасна, поистине ужасна в этом климате. Жара – это постоянный перегрев воздуха, который лихорадит, это душное дыхание Юга, это приливы огня, пришедшего из великой пустыни так близко, этот тяжелый сирокко, самый бурный, иссушающий, так что пламя (этот бесконечный огонь всего целиком континента, целиком сожженного до камней огромным и пожирающим солнцем) обнимает кровь, дает безумие плоти, смущает.

Но я перехожу к моей истории. Я ничего тебе не расскажу о моих первых днях в Алжире. После того как я посетил Бон, Константин, Бискру и Сетиф, через ущелье Шабет я приехал в Бужи, и несравненная дорога посреди кабийских лесов, которая возвышалась над морем на 200 метров, и извивалась на высокогорье, почти до чудесного залива Бужи, такого же прекрасного, как тот, что в Неаполе, как Аяччо и в Дуарнене, самая восхитительная из тех, что я знаю. Я исключил из моего сравнения бухту Порто, опоясанную красным гранитом, населенную фантастическими и кровавыми каменными великанами, которых в Пьене, на западном побережье Корсики, называют «Калонш».

Из далекого далека, перед тем как обойти огромный водоем, где мирно спит вода, можно завидеть Бужи. Оно построено на быстрых боках очень высоких, увенчанных лесом гор. Это белое пятно на зеленом склоне; говорят, пена каскадом падает там в море.

В тот момент, когда я стоял у подошвы этого маленького и восхитительного городка, я понял, что останусь здесь надолго. Со всех сторон взгляд обнимал огромный круг крючковых, зубчатых, рогатых и странных вершин, настолько закрытых, что открытое море раскрывалось понемногу, а залив напоминал озеро. Голубая вода, молочная вода были восхитительной прозрачности; лазурное небо, мирное небо, как будто двуцветное, изливало свою изумительную красоту.

Бужи является городом развалин. Придя на набережную, встречаешь восхитительные обломки, так что можно говорить о произведении искусства. Это старый порт сарацинов, захваченный плющом. И в горном лесу вокруг городка повсюду – руины, грани римских стен, кусочки памятников сарацинов, остатки арабских построек.

Я снял в верхней части города маленький домик в мавританском стиле. Ты знаешь эти так часто описываемые жилища. Снаружи они не имеют окон, но внутренний двор их сияет

сверху донизу. Они имеют, во-первых большую свежую залу, где можно проводить дни, и, во-вторых, наверху – террасу, где проводят ночи.

Я сразу перенял обычай жарких стран – устраивать сиесту после завтрака. Душный час в Африке – час, когда нечем дышать, час, когда улицы, равнины, широкие слепящие дороги пусты, когда все спит или, по крайней мере, пытается спать, как можно менее, насколько это возможно, обременяя себя одежками.

Я расположился в моей зале с арабскими колоннами на большом мягком диване, покрытом ковром Джебель-Амур, в костюме Ассана, но почти не мог отдыхать, мучимый воздержанием.

О, мой друг, два страдания этой земли, которые я не желал бы знать: отсутствие воды и отсутствие женщин. Какое из них более ужасно? Я не знаю. Мы бы совершили все гнусности ради стакана прозрачной и свежей воды в пустыне. Чего не сделаешь в некоторых прибрежных городках ради свежей и здоровой красавицы? В Африке нет недостатка в девушках! Напротив, их изобилие, но, чтобы продолжить мое сравнение, они там все зловредные и потные, подобные мутной жидкости сахарских колодцев. Однако однажды, когда я был более нервным, чем обычно, я попытался, но тщетно закрыть глаза. Мои ноги вибрировали, словно исколотые, беспокойная тоска заставляла меня всякий раз поворачиваться с боку на бок на моих коврах. Наконец, больше не пытаюсь уснуть, я поднялся и вышел.

Был июль, жаркое послеполуденное время. Мостовые улиц были жарче свежеспеченного хлеба; рубашка, вся мокрая, прилипала к телу, и по всему горизонту плыл маленький белый пар, этот огненный туман сирокко, который казался ощутимым теплом.

Я спустился к морю, и, обогнув порт, я проследовал к широкому берегу красивого залива, где купались. Отвесная гора, покрытая подлеском, высокие ароматические растения с властным запахом, кружили вокруг этой бухты, или мокли по всему краю огромных коричневых скал.

Никого вокруг; ничего не слышно: ни крика животного, ни полета птицы, ни шума, ни даже плеска – неподвижным казалось окоченевшее под солнцем море. Но в палящем воздухе я надеялся поймать что-то вроде гудения огня.

Вскоре позади этих скал, наполовину утонувших в молчаливой волне, я различил легкое движение, и, оглянувшись, заметил в купальне, полагая, что она одна в столь ранний час, крупную обнаженную девушку, которая стояла, погрузившись по самую грудь. Она повернула голову в сторону открытого моря и мило прыгала, не видя меня.

Ничего не было удивительнее этой картины: прекрасная девушка под ослепительным светом в прозрачной, как стекло, воде. Она была великолепно прекрасна и огромным ростом напоминала статую.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.